Дирижер Роман Кофман: музыка существует не для народа

80 лет исполнилось главному дирижеру Симфонического оркестра Национальной филармонии Украины, композитору, литератору Роману Кофману. Мы говорим с Романом Исааковичем о военном детстве и «пятой графе», о смелых капустниках и вызовах в ЦК, о Киеве и Бонне, Майдане и Бабьем Яре.

— Роман Исаакович, все мы родом из детства. А каким оно было — ваше детство? Вы ведь киевлянин в первом поколении…

— Родители мои испытали все, что положено испытать еврейской семье, — в революционные лихие годы мало кто отказывал себе в удовольствии нас погромить.

Семья отца — дедушка, бабушка и трое сыновей в период погромов прятались в простенке между двумя хатами в местечке Дитковичи и по утрам посылали моего дядю Авраама посмотреть, какой флаг висит сегодня. Если немецкий или красный — можно было выходить. Однажды флаг просто не успели

сменить — красных выбил в ту ночь атаман Струк. Кофманы этого не знали, вышли из своего убежища и… бандиты связали всем руки и моего дедушку закопали живьем — на глазах у семьи. Дедушке было 42 года.

Бабушка заболела и умерла, а мой отец — самоучка — с 18 лет стал разъезжать по местечкам и давать частные уроки по всем наукам в семьях, где его кормили. В одной семье он учил двух сестер, на одной из которых женился — это была моя мама. Тогда же папин брат — Борис — женился на младшей сестре. А брат Авраам к 33 годам уже был заведующим отделением в институте им. Стражеско. В 1932-м, когда на фоне массового голода началась эпидемия тифа, он собрал бригаду специалистов и поехал по селам спасать тех, кого можно было спасти, — заразился и умер. После этого всех мальчиков, рождавшихся в нашей семье, называли Авраам, что в советских документах превращалось в Роман — о чем я, кстати, жалею.

— Отец ваш был толстовцем, насколько я знаю.

— Да, он переехал в Киев, вступил в толстовский кружок, стал вегетарианцем и увлек этим маму. Поэтому я с рождения не ем мяса и рыбы и даже не знаю их вкуса. В 1923 году родилась моя старшая сестра Гита, в 1925-м — брат Миша, а в 1936-м — я — поздний ребенок, чье детство было относительно безоблачным до июня 1941 года.

— Начало войны помните?

— Прекрасно помню. Каждое лето мы снимали дачу в Буче, но в 1941-м поехали на Десну — в село Летки. А через неделю, в воскресенье, приехал Миша. Война! В августе эвакуировались — помню, как телега заехала в наш двор по Горького, 12, и мама повисла на бабушке, умоляя ее уехать, но …они с дедушкой категорически отказались бежать. Помню, как меня водрузили поверх тюков — я сидел, ел коржики и был вполне доволен жизнью. Так, в огромной колонне беженцев мы доехали до Харькова, а там сели на какой-то поезд до Воронежа, где на вокзале провели три дня.

Навсегда врезался в память один эпизод — я уже обжился в этом людском

море и бродил по вокзалу, когда одна бабушка потянула меня за рукав, прошептав: «Хочу яблоко». И я — пяти лет от роду — пошел добывать ей яблоко к начальнику вокзала. Это, кстати, единственный раз, когда я сам напросился в высокий кабинет. Туда всегда стояла очередь, но я достоялся, зашел и попросил яблоко для бабушки. И начальник — о чудо — открыл какой-то шкафчик, извлек оттуда яблоко и вручил мне. Я поспешил в зал, но старушка была уже мертва, вокруг суетились люди — это осталось со мной на всю жизнь…

Через несколько дней мы — уже в поезде — познакомились с одним узбеком. Узнав, что сестра училась играть на фортепьяно, он пригласил нас всех к себе, мол, инструмент у меня есть — будешь заниматься. Этот странный и славный человек жил в кишлаке в 20 километрах от Коканда, правда, оказалось, что в его доме никогда не было не то что пианино, а даже… пола. Что им руководило — одному Богу известно.

В студенческие годы

Киевская филармония, 1950-е

— Связь с Киевом к тому времени прервалась?

— О том, что произошло, мы узнали уже после войны со слов домработницы Тани, которая осталась с бабушкой и дедушкой. В тот самый день — 29 сентября — когда надо было явиться на угол Мельникова и Дегтяревской, они

замешкались (дедушка не мог найти какие-то документы) и решили прийти завтра. К вечеру уже стало известно, *что* происходит — и старики спрятались на чердаке, где просидели шесть дней, а Таня носила им еду. На седьмой день дворничиха баба Мотя привела немецкого офицера, который отвез их в Бабий Яр.

Брата — ему еще не было 18-ти — тем временем мобилизовали и направили в пулеметную школу в Кушку, а потом — на Первый украинский. Последний треугольник от него пришел осенью 1943-го — Миша писал, мол, сижу на берегу речки, куда мы с Гитой ездили на велосипедах купаться. И продолжал: не сегодня — завтра буду дома, проведаю бабушку с дедушкой, обязательно пришлю какую-нибудь вещицу из нашей квартиры…

— В одном из интервью вы сказали, что музыка для вас — хобби, а настоящее дело — литература. Первое стихотворение написали в семь лет — 7 ноября 1943 года — на следующий день после освобождения Киева. Помните его наизусть?

— Разумеется, как его можно забыть — это ведь жемчужина мировой классики *(улыбается).*

Мы каждый вечер ждем утра

Когда настанет встать пора

И вот Ватутин молодец

Взял наш Киев, наконец

И загремел салют в столице Украины

И снова там поют украинские дивчины.

— Как принял вас послевоенный Киев?

— Когда мы вернулись — в марте 1944-го, — оказалось, что квартира наша занята, а мебель переехала к бабе Моте. Полгода мы мыкались, все суды дали

от ворот поворот, и мама поехала в Москву на прием к Генеральному прокурору СССР — в результате нам вернули одну комнату без удобств как семье погибшего военнослужащего. Но это нормальная киевская история.

— Заниматься музыкой вы начали поздно — в 10 лет. Нравилось?

— Моему брату успел дать несколько уроков домашний учитель-клезмер — этот старичок пришел в 1946-м к нам домой, узнал, что Миши больше нет, и… предложил учить младшего. Мне купили маленькую скрипочку, родители млели, а я ждал, когда это все закончится. Через год старичок посоветовал отдать меня в музыкальную школу, что и было сделано, естественно, без моего согласия. За три года я освоил программу до седьмого класса, и когда в ЦМШ при консерватории был недобор, попробовал туда поступить. На экзамене мне единогласно влепили двойку — вполне заслуженную. Но один из педагогов — Иосиф Аронович Гутман — что-то во мне разглядел и предложил принять на год условно. На переводном экзамене в восьмой класс я получил пять с минусом с примечанием: начал проявлять признаки музыкальности. Но главное, я очень прикипел к педагогу.

— Настолько, что в 15 лет уехали за ним в Сибирь? Как домашнему еврейскому мальчику удалось уговорить родителей?

— Гутман семь лет жил с тремя детьми в вестибюле школы (довоенную квартиру ему не вернули) — а потом списался с Новосибирском, где был в эвакуации во время войны, — его там приняли с распростертыми объятиями.

Я сразу заявил, что уеду за ним. Родители запротестовали, но, дотерпев до нового года, я пригрозил, что если меня не отпустят, то брошу музыку вообще. И мама стала подшивать под мое пальтишко ватин. В Новосибирске я полгода жил дома у Гутмана вместе с тремя его детьми и двумя учениками. Занимался часов по шесть в день, доказывая, что не зря оставил родной город…

— Киев конца 1950-х был довольно антисемитским городом — как вам удалось поступить в консерваторию?

— Поступать в Киеве было бесполезно — я хорошо знал это по опыту своих соплеменников. Я попытался поступить в Московскую консерваторию — со мной сдавали блестящие скрипачи, один из абитуриентов — ученик Ойстраха — играл на скрипке Страдивари, которую Давид Федорович предоставил ему для вступительного экзамена.

Не поступление грозило армией, и тут — в коридоре — меня перехватил Григорий Домбаев — ректор Горьковской консерватории, сделавший мне предложение, от которого было невозможно отказаться — поступление без экзаменов в класс профессора Португалова, выпускника Петербургской консерватории, получившего диплом из рук Глазунова.

На первом курсе я прошел по конкурсу в группу первых скрипок оркестра горьковской филармонии. Все было хорошо, но на 4-м курсе пришла телеграмма от родителей: умерла Гита — у нее был тяжелый порок сердца. Я пришел к Домбаеву, объяснил ситуацию, он вынул из кармана деньги: «Вот вам на билет»…

Прилетев в Киев, я понял, что оставить родителей уже не могу. Перевод в Киевскую консерваторию оказался делом непростым — меня не хотели даже прослушивать — этого удалось добиться лишь после приема у главы правления Союза композиторов УССР и депутата Верховного Совета Константина Данькевича. Впрочем, несмотря на письменный вердикт: «Принять», ректор сказал, что пойдет на это лишь в случае недобора. Для справки: недобора по классу скрипки не было в Киевской консерватории с 1913 года — со дня ее основания.

В прописке к родителям, в квартиру, где я родился и жил долгие годы, мне было отказано на всех уровнях — с одинаковой формулировкой: «Нема підстав». На работу без прописки не берут, а работать надо — отец получал 70 рублей пенсии.

В конце концов, удалось устроиться в Театр музкомедии, один из немногих, куда часто ходили чиновники, в том числе милицейские, что объяснялось весьма просто: в некоторых опереттах можно было увидеть полуобнаженный

кордебалет. Этим воспользовался главный дирижер Петр Андрианович Поляков, вовремя подсунув мое заявление большому милицейскому начальству. Так, благодаря волшебной силе искусства, меня прописали на родине.

На мое счастье решился и вопрос с переводом — я стал студентом Киевской консерватории.

— В 1963 году Антон Шароев создал в Киеве третий камерный оркестр в СССР, где вы достаточно быстро стали первой скрипкой, а потом и концертмейстером. Почему ушли?

— Шароев — талантливый человек, правнук Антона Рубинштейна, о чем он не забывал напоминать при всяком удобном поводе и без оного. Но было что-то садистски-пренебрежительное в его отношении к нам — музыкантам. После одного эпизода, когда он при публике начал отстукивать темп палочкой о пюпитр, я подал заявление об уходе.

— Тогда вас и ангажировал оркестр Государственного ансамбля танца Павла Вирского? С которым в 1966-м вы — не будучи профессиональным дирижером — едете в качестве дирижера на длительные гастроли по Северной Америке.

— Сначала был неожиданный звонок от инспектора этого оркестра с предложением стать их концертмейстером. Я стал отнекиваться, мол, не мой жанр, а он продолжает: у нас скоро поездка в США, правда без оркестра, но… ситуация особая — американский профсоюз свободных музыкантов добился запрета на ввоз аккомпанирующих оркестров, чтобы дать работу своим членам. А поскольку гастроли продлятся три месяца и пройдут в 24 городах, то возникла потребность во втором дирижере, который будет приезжать на день раньше ансамбля и готовить местный оркестр к совместному с нами выступлению. Конкурс на это место уже объявлен — попробуйте. «Да я же не дирижер», — начал было я…

Конкурс проходил на моих глазах — все профессионалы, всем было отказано,

и каждый день инспектор — Марат Алексеевич (а на самом деле Мирон Айзикович) уговаривал меня попробовать. Аргумент у него был весомый: ты же не дирижер, тебе не стыдно и провалиться. В общем, однажды я заперся дома в ванной, пытаясь перед зеркалом изобразить что-то «дирижерское», и за этим занятием меня застала жена — профессиональный дирижер. Пришлось открыться и выслушать все, что она думает по этому поводу.
 Назавтра, однако, я промахал два номера, после чего Вирский резюмировал: «Рома, заполняйте анкету — поедете в Америку».

— И тут не было проблем с пятой графой?

— О них я узнал по возвращении. А тогда нас просто созвали на общее собрание. За столом — секретарь парторганизации, главный казак — Григорий Чапкис — с кипой паспортов, и трое неизвестных, которых Вирский представил нам как «людей из химчистки». Запоминайте, это — старший администратор, это — заместитель директора и т.д.

Назавтра (паспорта выдавали строго перед отъездом) мы вылетели рейсом Киев-Копенгаген-Брюссель-Нью-Йорк. Восточное побережье США, средний запад — Чикаго, Детройт, Кливленд, затем Калифорния. А мой публичный дирижерский дебют состоялся 11 октября 1966 года в Монреале.

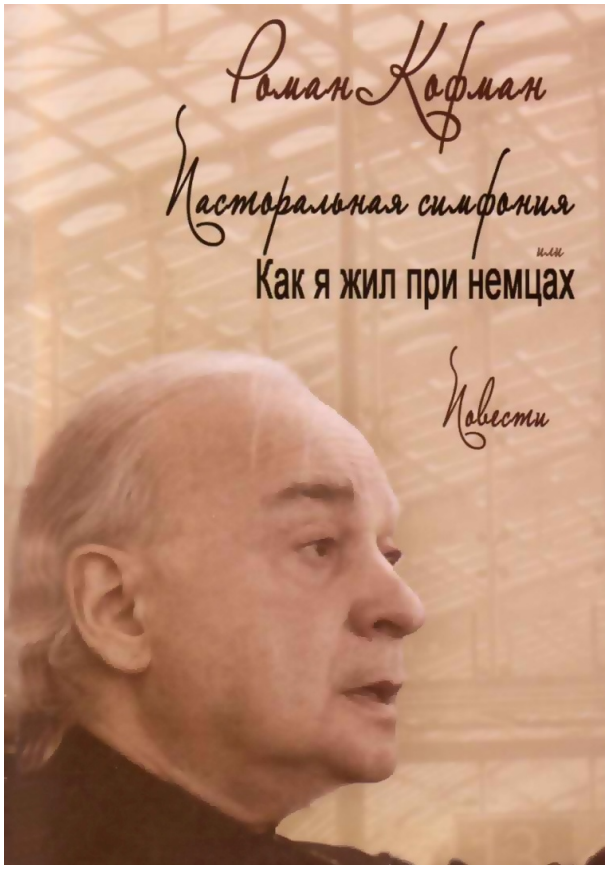
Всего за три месяца я продирижировал 23-мя американскими оркестрами и по возвращении подал документы на дирижерский факультет консерватории, имея практику, которой не было ни у одного абитуриента, да, пожалуй, и преподавателя.

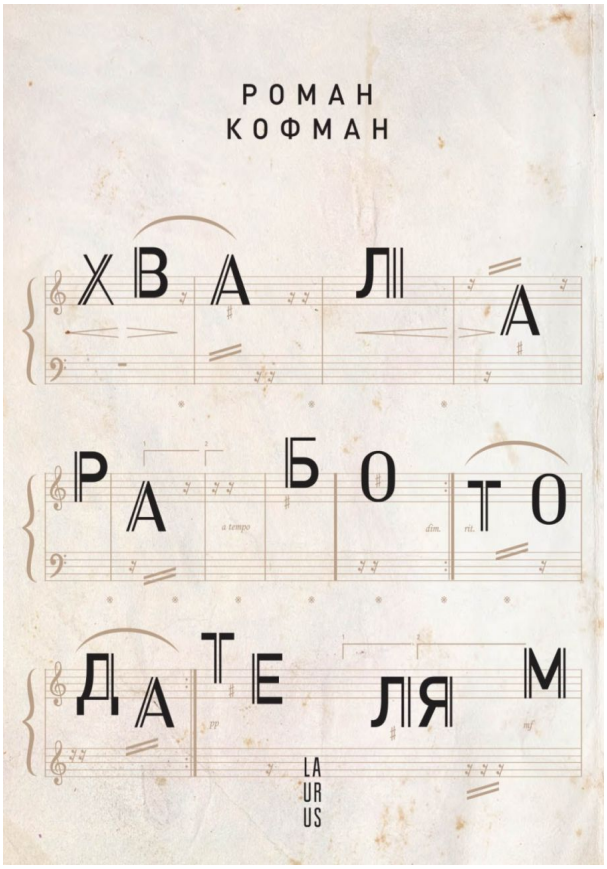
Что касается проблем с пятой графой, то только по завершении гастролей, на банкете Вирский признался: Рома, вас вычеркнули в первой же инстанции — и я пошел на самый верх, объяснив, что без Кофмана о гастролях не может быть и речи...

— Вы всегда были строптивым. Первым в Украине организовали авторский концерт Шнитке, первый полный концерт Гии Канчели, в первые исполнили Сильвестрова и даже были приглашены после этого в ЦК КПУ. Как удавалось сохранять независимость в те годы, находить некий модус вивенди с властью?

— Было непросто, но это меня даже раззадоривало. После концерта Шнитке секретарь Союза композиторов накатал телегу в Отдел культуры ЦК партии. Кто такой Шнитке завсектором музыки не знала, но отвечать-то надо, и она обратилась к эксперту с просьбой составить справку о композиторе (я посвятил этому главу «О пользе неведения» в своей новой книге). Тот, в свою очередь, недоумевал, чем вызван такой интерес — то ли Шнитке хотят сожрать, то ли выделить дополнительную жилплощадь. И, чтобы не промахнуться, отписался в стиле «и нашим, и вашим». Чиновница ничего не поняла и спустила это дело на тормозах.

Был скандал, связанный с одним из наших капустников, — я организовал в консерватории студенческий театр, преподавал там сценическую речь, писал сценарии. Так вот, на одном из новогодних капустников мы обыграли назначение нового директора оперной студии — генерал-лейтенанта авиации в отставке тов. Степичева. Там проскочила фраза о том, что в качестве ответного жеста первого же отставного профессора консерватории мы направим командовать боевой эскадрильей. При этих словах Степичев покинул зал, а потом подал заявление в партбюро…





Книги Романа Кофмана

— Пять лет вы возглавляли Боннскую оперу. Здесь не обойтись без цитаты из вашей книги: «Я ждал и боялся встречи с Германией. …Страшило ощущение в момент, когда я ступлю на ее землю. На землю, которая родила убийц моего безоружного близорукого деда и моей сухонькой бабки». Так каково же было ощущение, когда вы ступили на землю новой Германии?

— Не боюсь признаться, что нигде мне не было так комфортно, как в Германии, где я чувствовал себя очень свободно. Немцы очень тактично относятся к *другим*, и, безусловно, это связано с травмой Холокоста. Обжегшись, они дуют на воду, и это видно по отношению к мигрантам.

В Германии я приобрел самых близких друзей. В первый мой день рождения в Бонне — никто меня еще не знал, звонят в дверь — входит симпатичный человек лет 60 с двумя кульками — в одном хлеб, в другом — соль. Ему сказали, что у «русских» так принято. Это был Кнут Грёндаль. Дипломат,

спичрайтер нескольких президентов Германии, потомок по одной линии шведского короля Карла XII, а по другой — Владимира Ленина (бабушка Бланка была замужем за прадедом Кнута Грёндаля). Кнут ходил на все мои репетиции с Боннским оркестром.

Вообще, немцы, как правило, любители и ценители музыки. Кнута свел с нами Йоханнес Пост — глава представительства Дойче Телеком в Украине — он играет на рояле и на флейте. Бывший посол ФРГ в Украине Дитмар Штюдеманн играет на виолончели.

— Кто в Германии формирует культурную политику? Вспоминается хрестоматийная история о том, как Герхард Шредер, понимая, что не может приехать на открытие фестиваля Вагнера в Байроте, прилетел на генеральную репетицию одной из опер.

— На Западе вопрос формирования отношения к культуре давно решен — с тех пор как короли, маркграфы и эрцгерцоги в своих дворцах устраивали вечера, на которых и *сами* исполняли камерную музыку — садились в квартет, брали виолончель или скрипку и играли Шуберта.

Шредер поступил так, как поступает немецкая элита, у которой это в крови. Как король Баварии Людвиг, построивший замок Вагнеру. Недаром, все партии ФРГ имеют представителя по культуре.

Помню, иду я на концерт в Бонне — меня обгоняет на велосипеде в вечернем платье глава фракции СДПГ в городском совете. «На концерт?», — спрашиваю я у нее. «Разумеется», — отвечает она. И продолжает: «Я так волнуюсь — первый валторнист заболел, поэтому без репетиции будет играть господин Гревельс — третий валторнист. Справится ли?».

Появление украинского или российского политика на симфоническом концерте — само по себе необычно. То, что он едет туда на велосипеде — вообще нонсенс. При этом ему известно о болезни первого валторниста и он помнит фамилию третьего валторниста, который заменяет коллегу. Наконец, он вообще знает о существовании такого инструмента, как валторна.

— Как ваш оркестр пережил события Майдана, ведь здание филармонии находилось практически в эпицентре массового протеста?

— Переживания были общими, но то, что мы действительно находились в эпицентре, повышало градус напряжения. Рядом все горело, чуть ниже служебного входа стояла баррикада, на которой кто-то повесил портрет Бетховена…

При этом мы работали, концерты не отменялись, кроме одного, когда начал гореть Дом профсоюзов, и нам пришлось эвакуировать приглашенных солистов из отеля «Крещатик». А в целом люди продолжали ходить на концерты, словно хватаясь за возможность побыть в другой атмосфере.

После Майдана в Киевской филармонии состоялся концерт в память Небесной сотни — это было спонтанное решение, мы даже не репетировали. Вход был свободным, а сам концерт транслировался на Майдан.

— На ваш взгляд, украинское общество претерпело трансформацию за последние годы? И, если да, то отразилось ли это как-то на отношении к высокой культуре?

— Отношение общества к культуре, в частности к музыке, всегда более или менее одинаково — музыка существует не для народа, а для элиты — и к этому надо спокойно относиться. Разумеется, бывают подъемы и спады — в 1990-е мы потеряли целое поколение слушателей, залы были пустыми. А потом ситуация начала меняться — на недавнее закрытие сезона все билеты были проданы, ни одного свободного места, люди сидели на приставных стульях.

Базовые вещи неизменны со времен Баха, хотя субкультура меняется, например, манера поведения в зале. Я как-то в одном интервью на вопрос, как надо слушать музыку, ответил: «Молча». В 1990-е в зале болтали, обменивались впечатлениями, шелестели программками, фантиками. Сегодня совсем по-другому — стоит молитвенная тишина, которую ощущаешь буквально спиной.

— Роман Исаакович, сказался ли конфликт на востоке Украины на связях с российскими коллегами? Как они вам объясняют свою позицию по Крыму и войне на Донбассе?

— Еще как сказался. У каждого свои мотивы. Кто-то зависит от власти, другие искренне полагают, что все правильно и национальный лидер восстанавливает имперское величие, третьи вообще ничего не подписывали, но их поставили перед фактом.

Гастроли, конечно, срываются. Должна была приехать русская пианистка, живущая в Швейцарии. Ее муж — импресарио — организатор гастролей Гергиева, Плетнева, да и моих. За три недели до гастролей он звонит мне: «Настя не приедет, она же русская, а это опасно — как она будет ходить из отеля в филармонию, тем более, у нее московский акцент». «Томас, во-первых, отключите Первый канал российского ТВ, — говорю я ему, — и, если хотите, я буду лично приходить в отель и сопровождать Настю до

филармонии. Рядом с бандеровцем Кофманом она будет в безопасности». Не помогло.

— Недавно Украина на государственном уровне отметила 75-летие трагедии Бабьего Яра. Как лично вам видится увековечение памяти о жертвах этой наиболее черной страницы в истории киевского еврейства.

— Мне вспоминается история с памятником на Мамаевом кургане, где по проекту Вучетича была возведена самая высокая скульптура в мире **—** исполинская «Родина-мать зовет!» с 29-метровым мечом. Этому предшествовало длительное обсуждение, когда писатель Виктор Некрасов, имевший большее, чем Вучетич, отношение к Сталинградской битве (вспомните «В окопах Сталинграда») **—** предложил оставить курган в его тогдашнем виде **—** с ходами сообщения, воронками от снарядов, гильзами, проволочными заграждениями, считая, что это произведет большее впечатление.

К Бабьему Яру это сегодня не применимо, но, сомневаюсь, что музей может отразить эту трагедию **—** со всеми фотографиями и пояснениями к ним, артефактами и экскурсоводами. Возможно, мемориальный комплекс **—** это довольно близко к идее Некрасова.

Беседовал Михаил Гольд, «Еврейская панорама», Германия